

INSPIRIA

18+

ЛЮБА МАКАРЕВСКАЯ

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ



INSPIRIA

Люба Макаревская
Третья стадия
Серия «Loft. Современный
роман. В моменте»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68662201

Третья стадия: Эксмо; Москва; 2023

ISBN 978-5-04-178686-1

Аннотация

Рассказы Любы Макаревской можно квалифицировать как прозу поэта – автор действительно поэт и управляет с русским языком, как опытный дрессировщик с тигром. А можно – по степени искренности, откровенности и стремлению ясно видеть вещи, на которые прямо смотреть практически невозможно, больно, стыдно, страшно, то есть воспринимать их как предельно серьезный разговор о самом важном.

Люба Макаревская пишет о боли, смерти, любви и памяти так, словно одалживает читателю свой взгляд, тело и какой-то крохотный мерцающий фрагмент души; читая ее, всегда находишься внутри чего-то, что одновременно "я" и "не я". Ее удивительный дар описывать душевную диссоциацию без диссоциации текстовой, оставаясь внутри и одновременно снаружи – своего рода волшебный эффект снежного шара. Люба

пишет острыми снежинками и собственной кровью на этом стекле свои послания нам и миру – читать их немного больно, но эта боль исцеляет.

Татьяна Замировская, автор романа "Смерти. нет"

Открывающая книгу цитата из Сабины Шпильрейн здесь, конечно, не случайна. Существует особенная линия женского письма: Вирджиния Вульф, Сильвия Плат, Энн Секстон, Элизабет Вурцель. Люба Макаревская сознательно идет по их следам. Это, в первую очередь, книга о саморазрушении и стремлении к Танатосу.

Ольга Брейнингер, писатель.

"Если представить себе, что все тени сходятся в одной точке, будет ли эта точка только невозможностью любой правды? И не хочу ли я в конце концов, чтобы огонь стер мою жадность вместе с ненасытностью моего зрения? И я снова, лежа на кровати, закрываю глаза и заключаю во тьму мир и храню в себе взгляды, кожу и мимику других – всех тех, с кем я была связана последние месяцы, и я наконец исчезаю. Мое зрение становится больше меня самой, оно зачеркивает меня, словно морская волна в преддверии то ли ядерной войны, то ли русской зимы, что для сознания почти всегда одно и то же".

Содержание

Чудовище	7
Он	19
Третья стадия	34
Гардеробщик	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Люба Макаревская

Третья стадия

*Я тоже была однажды человеком.
Меня звали Сабина Шпильрейн.*

Сабина Шпильрейн

*В любом моем воспоминании
О тебе ты голая.*

Александр Бренер

* * *

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Макаревская Л., текст, 2022

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2023

Чудовище

Я так цвету. Мне – все равно.

Анна Горенко

Еще до того как это стало мейнстримом, я резала себя почти каждый день. Потом сдавала в антикварную лавку что-нибудь из коллекции бабушки-академика и шла в ресторан. Есть котлеты в грибном соусе.

Я ничего не умела тогда сама, даже процесс поглощения пищи стоил мне огромного труда. Я смотрела на других посетителей и очень хотела любви. Я ждала ее от всех.

Молния на сапогах у меня была сломана, и я прятала ноги под стол. Я была готова на все ради полутора часов среди людей, которых можно было охарактеризовать словом «нормальные».

Чем чудовища отличаются от нормальных людей?

Ну, например, они в состоянии закончить школу и не продавать все, что можно и нельзя, из дома, большинство из них не знает тайных правил посещения ломбарда. Я же знаю о них все. С восемнадцати лет. Итак, когда говоришь с сотрудницей ломбарда, главное, чтобы уверенность сочеталась с жалостливостью, интонация должна быть пронзительная и твердая одновременно. Почти всегда, если экземпляр перед

вами не совсем твердокаменный, это дает пусть и небольшой, но все же плюс к сумме. В антикварных лавках сложнее: их владельцы отдают уже свое, но принцип тот же.

Каждый день запасы антиквариата стремительно таяли вместе с участками здоровой кожи на моих руках. Впервые я начала резать себя в двадцать лет. Что я пыталась утвердить в себе или, наоборот, прекратить этим коротким диалогом с осколками стекла, я не могу с уверенностью сказать до сих пор.

Сентябрь. Квартира расползается на свет и тень, за окном плывет голубоватая Тверская, я прихожу из школы, над пианино висит еще не проданный Борисов-Мусатов. Я наливаю шоколадный сироп в молоко и включаю сериал «Любовь и тайны Сансет Бич». Потом я тайком курю, затем ложусь на папину кровать, хотя она больше не его, ведь он давно умер, оставил меня одну среди чужаков, и теперь это просто диван в гостиной, и трогаю себя; мне очень страшно оттого, что зыбкая новая дрожь, появляющаяся внутри моего тела, полностью уничтожает меня. Мне одиннадцать лет, я одна дома, я одна во Вселенной.

Потом я меряю мамины лифчики, моя комната светлая и пустая, и длинный коридор расползается на свет и тень, на дорогу к бывшей комнате отца и обратно, к себе, и есть только этот путь в полутьме после школы, и зеркало во весь рост, в которое я могу смотреть на себя – полуновую, незнакомую, страшную и красивую.

За девять лет почти ничего не изменилось, только Мусатов исчез навсегда. Осталось фантомное состояние, когда кажется, что некая вещь присутствует в доме, но ее там нет.

Каких ответов от Вселенной я тогда искала у осколка стекла, робко завернутого в кусок случайной ткани? Были ли это только ответы на вопросы о собственной прочности, так свойственные юности, или все же что-то большее: попытка присвоения своего тела или желание остановить нечто неотвратимое в себе?

Или попытка примириться с самой собой, или все же проще и вернее – удовольствие, похожее на сексуальное, и еще желание наказать себя за все, что я чувствовала.

Еще пять лет назад я была типичным тяжелым подростком, отовсюду изгнанным, я так и не смогла закончить одиннадцать классов, но это меня почти не волновало. Ничто не мучило меня так и не оставляло во мне такого тяжелого чувства неполноценности, как собственная девственность. Мне казалось, что я не имею права существовать, если со мной никто не спит. Если я не вхожу в зону чьей-либо необходимости, то, значит, меня нет. Так я тогда чувствовала это. Вероятно, я опознавала себя через это совершенное отрицание, как и в момент, когда я, глубоко пьяная, рассекла кожу над коленом так глубоко, что увидела между кусками собственной рассеченной кожи сухожилия, еще чуть-чуть, и показалась бы кость, и у меня резко потемнело в глазах, как за секунду до настоящего удовольствия, до той темноты, в ко-

торой ты исчезаешь, перестаешь быть, становишься равной этой темноте, до взрыва, до возникновения Вселенной – до всего.

Я была влюблена в человека, который был абсолютно равнодушен ко мне. Возможно, причиной этой любви было то, что он стал моим первым другом после того, как я заболела.

Я очень боялась жизни оттого, что я ничем не была занята, у меня еще и было время на этот страх и я растворялась в нем.

Было уже почти полгода, как я наносила себе повреждения, и все же что-то тонкое еще удерживало мое сознание от срыва до конца января, до момента, когда почти каждую ночь мне стала сниться кровь и я перестала узнавать свои мысли. Я не находила места себе прежней среди их потока. Каждый день я проводила в борьбе с навязчивыми состояниями, и из них не было никакого выхода. Дорога от спальни до ванной и туалета и затем до кухни была для меня целым испытанием, и я не могла решиться на него без семи таблеток диазепама. Коридор вытягивался перед моими глазами, словно бесконечный тоннель, населенный чудовищами, но я боялась не этих чудовищ, а всей той темноты, что мучила меня, и я двигалась, прижимаясь к стене, опасаясь возникновения видений, которых, впрочем, у меня никогда не было, и моя координация была нарушена именно из-за таблеток.

Я была одна в мире тогда, как бываешь одна в кабинете у стоматолога или первого гинеколога. Несмотря на то что

об этом заботилась мама, как, возможно, больше не смог бы заботиться ни один человек, и это отнимало у нее все силы. И таблетки, что я принимала в неправильных дозах, выписала мне одна из лучших врачей, что я знала, но ничто мне не помогало: темнота всякий раз наваливалась на меня в течение этой зыбкой дороги и я все больше и глубже проваливалась в нее.

Что такое полная деперсонализация? Вы мечетесь внутри себя, как в запертой снаружи комнате, при этом вы плохо осознаете, что находитесь в своем теле. Вы не узнаете свое отражение в гладких поверхностях вроде зеркал. А потом вдруг в ванной, в воде вы видите чью-то руку или грудь и вдруг с удивлением понимаете, что эта грудь, или сосок, или пальцы, или ноги – ваши. И затем снова – вы то темнота, то ее воронка, то свет, то серийный убийца из сюжета новостей, то просто один сплошной густой мрак, о котором вы знаете, что он суть всех вещей, и никуда не можете убежать от этого знания, от того, что вот оно, это знание, и есть вы.

Некое сверхусилие, которое я тогда прикладывала для поддержания жизни, всех ее процессов, постоянно не оправдывало себя.

Я пробовала рисовать, как мой отец, все картины которого я продала по дешевке, когда не было денег, даже не ощутив чувства вины и вкуса предательства до конца. Возможно, голод тогда заглушил их.

Странно, все мои картины были скучными, потому что на

самом деле мне всегда нравилось только писать, но благодаря им я и познакомилась с Игорем. Он работал в баре, в котором я пыталась организовать выставку своих работ. Я была для Игоря тихой и скучной, как я теперь понимаю. Он приехал из Пскова и не поступил во ВГИК, работал барменом, ночами он тусовался на рейвах в «Арме». Я смотрела на него как на полубога и была счастлива, когда он просто разговаривал со мной.

Ощущение жизни и того, что есть, уже тогда стало приходить ко мне через другого. Хотя я, скорее, всегда стремилась отсутствовать. Я мечтала, что однажды он позовет меня к себе и избавит от моего изъяна. Конечно же, этого не происходило, он встречался с самыми разными девушками, и все они, как одна, были более веселыми, легкими и ловкими, чем я. Я же тихо продолжала лететь в темноту. Обрывала карнизы в квартире, не в силах справиться с собственной болью, с неврозом адаптации и с чем-то темным, методично пожирающим меня изнутри. Меня постоянно преследовало желание вскрыть вены в общественном туалете, как только действие снотворных заканчивалось, это желание становилось почти нестерпимым наравне со сладким привкусом барбитуратов. Мне хотелось умереть в луже крови, чтобы все наконец увидели, насколько мне больно. В один из дней я вынесла все стекло из дома, включая посуду, на помойку, потому что я боялась изрезать себя всю, даже лицо.

В те дни, не имея денег на своего привычного врача, я

в ужасе спросила районного психиатра, как он думает, шизофрения ли у меня, и он ответил мне с плохо скрываемой брезгливостью:

– Скорее всего, да.

Тогда же за мной ухаживал очень милый парень, почти каждый день звонил и интересовался моим состоянием, он часто говорил мне:

– Ты разрушаешь свою жизнь.

И я с какой-то неуместной торжественной гордостью отвечала ему:

– Я знаю.

Даже сейчас, вспоминая его, я понимаю, что он был очень хорошим. Конечно, я бегала от него как черт от ладана. Внутри себя с маниакальной убежденностью я решила хранить верность своей любви к Игорю.

Или просто перспектива счастья и относительного благополучия страшила меня больше, чем некоторых людей страшит онкология, и, главное, нечто болезненное внутри меня, всегда определяющее мой выбор, не откликалось на него.

Несколько месяцев спустя я выбрала самого подонистого типа из всех возможных, увидев которого я подумала, что он хочет убить себя.

Именно он стал моим первым любовником. Если представить себе район Китай-города как круг, то он жил внутри этого круга точно напротив дома на Маросейке, где снимал комнату в еще более разрушенном и старом доме тот самый

Игорь.

И эта закольцованность всегда представлялась мне чем-то страшно травмирующим и трудно переносимым. Чем-то, что я никогда не смогу преодолеть до конца.

Я помню голубую комнату на Солянке и лепнину в ней.

Я подумала тогда, что в этой комнате в дореволюционном доме обязательно должен был кто-то умереть.

И в каком-то смысле я оказалась права: в ней умерла я прежняя.

Утро показалось мне самым розовым из всех, что я видела, и еще чувство стертой пленки, хотя, возможно, эта пленка существовала только в моем воображении.

И нестерпимый зуд, заполняющий все внутри меня. Как будто я вся превратилась в отверстие, в свежую рану. Уже ничего не волновало меня, кроме этого короткого и болезненного чувства заполненности, которое я испытала с ним тогда, в первую ночь.

Позже он стал грубым, точно в ответ на мою тягу к саморазрушению. И он оказался опаснее стекла.

И во второй раз он что-то навсегда повредил в моей психике с моего же молчаливого согласия.

Он развернул меня, как пластмассовую куклу, было ли это тем, чего я ждала, облученная неправильной литературой и другими излишествами? Мой взгляд упал на белую известь стены, и боль разделила меня на две части.

Потом я смотрела в окно на голубую пустоту, всегда сизая

и голубая Солянка и всегда очень далекая розовая призрачная Маросейка. Мне казалось, что я только кусок мяса для него. И я снова стала исчезать, но мне больше не хотелось резать себя, потому что ему удалось так глубоко повредить и сломать меня, что я перестала нуждаться в дополнительных травмах. Униженное другим, мое тело вдруг стало моим в действительном смысле. Я постоянно ощущала теперь его то как грязь, то как непрекращающийся зуд внутри мягких тканей, зуд, стирающий меня целиком.

Следующие дни я провела между душем и собственной постелью. Он стал мне противен после той ночи, и я сама себе тоже стала отвратительна – собственная кожа, рот, вся я от начала до самого конца. И при этом я продолжала хотеть его, и от этого я чувствовала еще большее бессилие перед самой собой и жизнью. Чуть более новое и страшное бессилие.

Еще несколько раз мы занимались сексом, чаще всего под теми или иными наркотическими веществами. И с каждым разом я все больше и больше ненавидела его и себя. И не видела никакого выхода из того, что происходило, как будто я стала заложницей своего тела и больше не управляла им.

В один из вечеров после разговора с ним, когда он сказал мне, что я хорошая и скромная, я попыталась покончить с собой. Отчего-то я не могла вынести именно то, что он называл меня скромной. Я бы вынесла любую пытку, но только не это определение «скромная».

Оно возвращало меня к клейму, которое я ненавидела с

детства, к тому, что я хорошая девочка из интеллигентной семьи, и я не могла перенести того, что человек, сделавший со мной все, что сделал он, еще и считает меня скромной. Я подумала тогда, что лучше бы он разбил мне лицо: это было бы не так унизительно для меня.

Я помню подростков из Подмосковья, где я гостила у бабушки и тайком сбегала с ними пить пиво. Они пили и пиво, и водку, и я отчетливо помнила, как одна из тех четырнадцатилетних девочек рассказала мне о том, как она потеряла девственность.

Ее рассказ был ужасным и темным. Безрадостным и беспросветным, словно проволока вокруг прогулочного двора тюрьмы, но мне все равно казалось, что в каждом ее слове больше жизни, чем во мне.

И тогда она тоже назвала меня скромной, и вот опять это слово.

Не вспомнить точно, сколько таблеток я выпила, чудом меня не забрали в психушку, а только прочистили желудок.

И утром, когда я проснулась, я поняла, что зуд внутри меня наконец смолк. Я больше не хотела его. Мне перестало казаться, что мое влагалище кто-то изнутри расчесывает и щекочет. Ко мне вернулась способность есть и жевать. Я уже могла не думать о проникновении в себя каждую секунду, о чувстве, которое тогда казалось мне единственно действенным способом связи с реальностью.

Мы виделись с ним еще один только раз. И я знала, что

это последний раз, а он нет.

Мы ласкали друг друга абсолютно обнаженные в лучах дневного солнца, одно только мгновение мне еще хотелось плакать и течь на его руку, стать морем и водой, исчезнуть.

Потом я долго рассматривала его член, и мне больше не хотелось, чтобы он был внутри меня.

Я выздоровела.

Остаток того лета я провела, прячась от мира и людей.

Я возвращалась в себя. Очень медленно. Не было уже ничего – ни приступов желания, ни деперсонализации, ни аутоагрессии. Только пустота и я новая в ней, как в раме, мне казалось, что я отхожу от наркоза.

Выхожу из него как из омута.

В сентябре я стала снова общаться с Игорем и почему-то по-детски опять стала верить в то, что между нами что-то еще случится. Я помню вечер в конце октября, когда он сказал мне, что уезжает на полгода в Азию с другой девушкой.

Я заплакала. Я плакала и не могла остановить слезы, они не кончались, точно впервые после лета ко мне вернулась способность чувствовать что-либо.

Я попросила его:

– Обними меня, пожалуйста.

Он ответил:

– Я не готов.

Я отошла от него, наконец все резко осознав до конца. Была вечеринка, и из всех динамиков лилась «Dancing Queen»

ABBA:

You can dance,
You can jive,
Having the time of your life.
See that girl,
Watch that scene,
Dig in the Dancing Queen.

Я опустила глаза и увидела следы порезов на своих руках.
Я успела подумать, что с человеком всегда остается то, что
есть он сам.

Музыка набрала новый оборот:

You are the Dancing Queen,
Young and sweet,
Only seventeen,
Feel the beat from the tambourine.
You can dance...

И тогда я почувствовала, что юность закончилась навсегда.

Он

Одна война зимы.

Анна Горенко

В тот вечер, прозрачный и зимний, он купил мне банку светлого пива.

Как будто мы были парой подростков и не мое постоянное влечение к саморазрушению притягивало меня к нему. Однако меньше всего общего было у меня и у него – у людей, которые не до конца повзрослели или бегут от чего-либо общепринятого, – с подростками. В нашем беге не было ни грамма беспечности, только мрачная сосредоточенность. Его и моя сосредоточенность в желании исчезнуть с помощью друг друга и невротический страх, что эта попытка может не удался.

Я помню, как голос несколько раз пропадал то у него, то у меня, хотя уже тогда он прекрасно знал все, что я хочу услышать, и сказал мне, открывая дверь, глядя в мои глаза:

– Разве сейчас ты не знаешь, что умрешь?

И уже в квартире он долго извинялся за беспорядок, словно это могло быть важно.

Когда я ощутила его пальцы внутри себя, потолок, весь цветной и пульсирующий от оставшейся новогодней гирлян-

ды, поплыл, и я почувствовала, что проваливаюсь в удовольствие, всегда похожее на боль для меня, как в темную яму, и даже это короткое знание, всегда удаляющееся от меня, что вот наконец я и он, на мгновение перестало стучать в моей голове, и потом я услышала его голос, повторяющий мне:

– Громче.

Тогда его требовательность столкнулась с моей почти вынужденной несознательностью и полудетским ускользанием. Я еще не знала, что более требовательной из нас в итоге окажусь я. И какая-то часть меня еще скрывалась от него, даже посреди близости, точно я чувствовала, что, когда наконец это стану совсем я, я исчезну или правда умру.

И после, когда меня еще чуть трясло, но мне уже становилось легче от того, что я все же была его, тогда я еще без стеснения обнимала его после. И он обнимал меня в ответ, и сквозь остатки дрожи, его и своей, я могла слушать, как бьется его сердце.

Позже, когда я курила и смотрела все на тот же цветной потолок, я не могла перестать повторять про себя: «Мой, мой, мой».

Мне казалось, я почти не почувствовала укола боли или обиды оттого, что он не заметил двух глубоких следов от ожога на моей левой руке. Хотя на самом деле мне было страшно и стыдно при мысли, что он заметит эти две незажившие язвы.

Этим ранам было ровно две недели. И я даже не помнила,

как нанесла их себе, я помнила только, что сделала это, когда он сказал мне, что у него отношения с другой. Я помню, что тогда я подумала, когда они заживут, он напишет мне. Он написал раньше.

Я спросила:

– Ты скучал по мне?

Он ответил:

– Я нервный идиот.

– А я страдала по тебе на каникулах, – сказала я очень тихо. И мне показалось, что, когда я говорю это, я вступаю в некую неназванную красную зону.

В ответ он сказал только:

– Я ничего не сделал для того, чтобы ты страдала, тебе просто нравится страдать.

В глубине себя самой я знала, что он прав, но мне хотелось, чтобы он прятался от реальности в ложных конструкциях, как я, хотя я знала, что он не станет поддерживать во мне мои иллюзии, ни одну из них. Он будет только уничтожать их – даже не потому, что он старше меня, а потому, что он просто не может по-другому. И все же тогда я добавила, упрощая все или усложняя:

– Я думала только о тебе во время мастурбации.

– Это очень мило, очень трогательно, что ты думала только об мне во время мастурбации.

Он сказал это с той интонацией, с какой говорят о ребенке далеких знакомых или новом фуд-корте.

И на мгновение мне стало совсем легко, точно я не чувствовала так много последние недели до того, как он позвал меня. Я помню, как в декабре перед самым Новым годом я бегала по всем вечеринкам как оглашенная в надежде встретить его. И когда встретила, вначале хотела убежать, а потом все же я подошла к нему, дрожа от внутреннего ужаса и напряжения. Я хотела курить, и он протянул мне сигарету, взял меня за руку, за запястье, чуть развернул мою руку в своей:

– Крошки. Ты только что ела?

Он улыбнулся.

Я кивнула:

– Да, круассан.

Потом мы пошли за пуншем, и я сказала ему, что он слишком крепкий, как будто в него что-то добавили.

– Водку, – предположила я.

– Или наркотики, – ответил он, не переставая смотреть мне в глаза.

Когда он говорит обо всем, чего следует избегать: вещества, алкоголь, – уже не важно, его взгляд становится настолько темным, что, мне кажется, эту темноту можно пить, и она льется на меня, и только в ней я одновременно исчезаю и чувствую тепло, словно возвращаюсь в детство – на самое его раскаленное дно. Раскаленное от сказок и ожидания чудес и такое же раскаленное от страха.

И тогда я вспоминаю позднюю осень, ночь, когда мы познакомились. Мы вышли курить и дышать из клуба, и про-

странство вокруг было похоже на осенний сад. Запущенный и страшный дикий сад за чертой города.

Я рассказывала ему о сериале про серийных убийц, а он говорил мне о фильме про киберпанков. Следующие дни я все время пыталась вспомнить его название и никак не могла, и осенний сад растягивался в моем сознании в бесконечность.

Мы встретились снова только через месяц, я пришла к нему в гости. Это был первый вечер зимы. Вначале мы шли холодными переулками к его дому, и я шла впереди, а он шел за мной, потом всегда было наоборот. Уже в тепле, наливая себе полный бокал вина, не в силах преодолеть стеснения, я спросила его:

– Вы смотрите на меня с ужасом?

– Нет, я задумался, простите. Я могу вообще не смотреть, если вас это смущает, правда, это будет трудно: здесь больше никого нет.

Два или три часа спустя он раздел меня и долго гладил мою спину и плечи, до того, как мне стало страшно. Потом я не смогла справиться с собой и ушла, от первых отношений у меня осталась эта нехорошая, мучительная, словно шрам, привычка – всегда убегать в начале того, что может стать слишком сильным.

Утром я поняла, что не хотела уходить. Я еще не знала, что впереди будет снег и пустота, улицы, замерзшие и продезинфицированные морозом до кристальной чистоты.

Декабрь и почти весь январь я провела в ожидании, что он снова обратит на меня внимание. Все мои каждодневные маршруты были выстроены в соответствии с моей одержимостью, все дороги вели к местам, которые были связаны у меня с ним.

«Мой суицидальный маршрут, смотри, вон „Аннушка“ поехала», – говорила я другу о трамвае в районе Чистых прудов, хотя чаще я предпочитала быть одна. Никто не мог отнять у меня удовольствия ехать в обледеневшем автобусе, чтобы сквозь мороз протягивать руку пустоте, растворяясь в нехватке, как другие растворяются в химических веществах. Днями и ночами я перечитывала «Деструкцию как причину становления» Шпильрейн. Все было бесполезно, все было зря. Ничего не помогало, не могло помочь.

До этого вечера, когда он обнял меня в начале переулка, стремящегося вверх. Первое, что я почувствовала в ту минуту сквозь холодный воздух, был запах табака, всегда исходящий от его рта, шеи, десен, щетины. Запах, от которого мне всегда становилось спокойно и хорошо, как будто все плохое навсегда закончилось.

Однако на рассвете он все же вызвал мне такси. И наступили совсем другие, простые и ясные зимние дни, в которые я часами слушала песню в исполнении Янки Дягилевой:

Ты знаешь, у нас будут дети
Самые красивые на свете,

Самые капризные и злые,
Самые на голову больные.

И мне все время хотелось сказать ему:

– Пожалуйста, давай станем друг для друга священными чудовищами.

Каждую ночь перед сном я нюхала его сигареты, покрываясь липкой пленкой желания. Я совсем ничего не могла с собой поделаться. И я постоянно ждала, когда же он позовет меня снова, и в оттепель, и в метель я превращалась в Пенелопу, в Мерседес Эрреру.

Мы увиделись с ним снова только спустя три недели, столкнувшись на одной из вечеринок лицом к лицу, и он просто кивнул мне, а через двадцать минут он написал в мессенджере: «Кажется, я видел тебя тут».

А что он должен был делать?

Он всегда менял партнеров, некоторых из них, чуть более чувствительных, чем это принято в среде взрослых вольнодумствующих людей, повреждая эмоционально.

Я никогда не была достаточно сильной для подобных игр. Иногда мне казалось, что он довольно бесчеловечен по отношению ко мне только потому, что я сама этого хочу и он просто отвечает на мой внутренний запрос.

Позже я узнала, что у него были аналогичные отношения с одной моей знакомой. Являлись ли мы для него чем-то одним? У нее тоже была короткая стрижка, и обе мы любили

крэссовки New Balance, мы да­же купили одинаковые модели, сами того не зная, толь­ко она выбрала красные, а я синие. И ни одна из нас не отличалась психическим здоровьем и эмоциональной стабильностью.

Задолго до него между мной и ней был момент горькой сопричастности и странной близости.

Когда мы курили летом и она вдруг заметила следы порезов на моих руках, я ужасно смутилась, а она взяла меня за руку и сказала:

– Береги себя, пожалуйста.

Я ответила:

– Ты тоже.

Уже от него я узнала, что она так же резала себя. На этом параллели заканчиваются, остается зона уязвимости.

На мой день рождения он снова позвал меня к себе. Он долго целовал меня на матрасе, вокруг валялись только про­вода, а потом засмеялся:

– Ты хочешь лечь на удлинитель.

И уже я стала целовать его. Не различая в полумраке его подбородок и рот.

И тогда я впервые попросила его ударить себя. Я легла на живот, закрыла глаза и наконец потеряла себя до конца, точно все нити между мной и моим сознанием, мной и жизнью оказались перерезаны, как будто я вышла босиком в снежное поле. Ничего больше не разделяло меня с опытом исчезновения. И меня с ним и с его властью над мной. И тогда это

была я и был он.

Прежде я никогда не доверяла никому настолько, чтобы попросить об этом. Я не знаю, почему я доверяла ему больше всех остальных людей.

Возможно, все его поведение виделось мне следствием глубокого кризиса, а я с детства могла испытывать влечение только к ненормальным. И с первых минут знакомства сквозь всю его видимую светскость я увидела ту самую темную мрачность, ее отпечаток, всегда говорящий о чуть более тяжелом и вероломном опыте, чем опыт других.

– А твоя мама? – вдруг спросила я его.

– Она умерла, я один.

– Тебе не хватает ее?

Я была бестактной.

– Нет, не думаю, что она хотела бы жить дольше, она уже сильно болела, и ей было много лет. Дальше это стало бы слишком утомительно для нее.

Он закрыл глаза, и тогда, целуя его щетину и смотря на голубой свет из окна, чувствуя, как мороз вплетается в весну, я поняла, что он никогда не будет говорить со мной о своем детстве так, как мне хотелось бы.

В ту ночь он постоянно сжимал мою руку во сне. Я слушала, как ветер шумит за окном, и уже ни о чем не думала, кроме как о том, что мир делится на его дыхание и мой полусон, что я не хочу ничего помнить, кроме этого полусна, внутри которого общая тревога превращала нас в совершен-

ных соучастников.

А на рассвете, когда я уходила, он вдруг сказал мне:

– Ты думала, я веселый?

Я покачала головой:

– Нет, я никогда так не думала.

Вместо «пока» он сказал мне только «с днем рождения».

Он любил целовать и кусать мочки моих ушей, и только тогда я осознала, что они красивые. Иногда я говорила ему:

– Ну не смейся надо мной.

И он всегда отвечал мне:

– Я никогда не буду смеяться над тобой.

И его голос становился глухим.

А потом он оставляет меня одну в мире, где все больше не имеет прежнего запаха и цвета, ни одной прежней функции, ни одного прежнего свойства.

Часто, еще находясь рядом с ним, я думала: «Откуда он знает столько всего про меня?»

Угадывание или изначальное знание, мне было не важно. Важно лишь, что оно было у него.

Это чувство безопасности тепла и беспамятства, всегда такое хрупкое, возникало у меня только рядом с ним, и разрушал его тоже он – своей холодностью, словно чувства были для него чем-то стыдным. Умом я хорошо понимала его холодную логику, где удовольствие всегда было отмечено следованием за новизной или изнуряющей игрой в кошки-мышки. Но я ни разу так не чувствовала.

В этой логике постоянного устранения и приближения любое тепло вызывает ужас и кажется по-настоящему неприличным. Фраза вроде «Я скучала по тебе» смущает и видится неуместной, а формулировка «Я хочу ебаться» успокаивает, точно служит универсальной отмычкой к миру.

Думаю, когда мы только познакомились, каждый из нас подумал про другого – «как можно быть таким?», «как можно быть такой?». И вначале мне нравилось быть эдакой «девушкой с мороза», неуместным существом, неудобным по всем пунктам, пока это не стало причинять мне настоящую боль.

И все же при этом все другие люди, все, кроме него, стали казаться мне прозрачным стеклом, и я металась среди них, как загнанное животное. Я смотрела на них и не понимала, почему они вдруг стали такими неинтересными, все, кого я любила раньше.

А в одну из ночей я открываю сторис в соцсети.

И вижу его в лифте с другой девушкой. Вижу, что он пьян. Они смеются, он протягивает руку к ее волосам, пытается опустить ее ниже, но она отстраняется. У нее широкие брови и белозубая улыбка. Он повторяет этот жест. Я вижу, как он приоткрывает рот, я вижу, как он ее хочет, и вижу вену на его шее, к которой я всегда прижималась губами во время близости.

Я откладываю телефон и чувствую, что в глаза мне попала соляная кислота и мне хочется убить его, а потом себя.

И тогда перестаю узнавать себя в зеркале, мне кажется, что меня больше нет, раз он меня больше не хочет, то я себя тоже не хочу.

Я бы выстрелила ему в сердце, а потом себе в голову, чтобы все кончилось.

Двадцать минут спустя я удалила его из друзей во всех соцсетях.

Зачем?

Не справилась с болью, проявила старомодную ревность, оказалась слишком обычной. И слишком слабой.

Со мной не осталось ничего, кроме озноба, невозможности поднимать руки и ноги. Я снова перестала узнавать себя в зеркале, перестала узнавать себя на фотографиях. Почему деперсонализация всегда так похожа на волны?

И когда они отходят, я вспоминаю свое тело, заново узнаю его, и тогда ко мне возвращается память этого тела.

И я дохожу до того, что плачу на порнороликах, отдаленно напоминающих мне любую из встреч с ним.

И я пишу ему письмо, жалкое и нежное:

«Ночью я смотрела „29 пальм“ и почувствовала запах дешевой гостиницы и хлорированной воды и снова захотела тебя, мне хотелось оказаться с тобой в таком месте, и этот секс на экране, такой трогательно нелепый, который бывает только между любящими и которого никогда не бывает в порнографии».

Не отправляю его.

Занимаюсь с психологом по скайпу, и она говорит мне, что я никак не могу дать себе право на существование, вероятно. Всегда, когда я лечу зубы или покупаю себе новое платье, я обязательно где-нибудь повреждаю себя. Я ничего не могу с этим сделать. Совсем. И еще она говорит, что он символизирует для меня фигуру отца и потому я так страдаю. И тому подобное. Она говорит, говорит, говорит. Она много говорит.

Месяц спустя я звоню ему. Разве что-то было до этого или могло быть?

И снова, открывая и закрывая глаза, я могла видеть, как вибрирует и дрожит весь цветной от гирлянд потолок.

В ту ночь он называл меня только по имени. И его голос отдавал мне в позвоночник и матку, и мне казалось, что я слышу голос ночного филина или другого полудикого лесного животного, и когда он гладил мою спину, я чувствовала, что теряю сознание.

И хотя на мне не осталось места, где бы он не касался меня языком, после мы больше не притрагивались к друг другу. Он не обнимал меня во сне, не брал за руку и не давал мне свою.

Объятия стали чем-то навсегда недоступным для него и меня. Как сон о потерянном детстве, о чем-то самом теплом и беззащитном. О времени, когда я или он, вероятно, задолго до меня, верил во что-то более уязвимое, чем такая гладкая и легкая логика секса и распада.

Последний раз он употребил слово «мы», разговаривая с таксистом, когда мы стояли на балконе и в лучах чистого ядерного летнего солнца я рассматривала веснушки на его плечах и два-три тонких, едва заметных шрама на лице.

После той ночи мне стал сниться один и тот же сон. Мне снилось, что я смотрю фильм о романе между студенткой и преподавателем. И знаю, что в конце он украдет у нее идею книги и все между ними станет отчаянно плохо. Но вот перед этим словно Новый год. Такая совершенная зима, и она приходит к нему и поет песню. Я не могу разобрать слов и вижу на экране только свет, такой зеленый, как от библиотечной лампы, и снег. И я знаю, что у нее тонкий голос, и на ней белая блузка и белая юбка и что потом они будут враждовать всю жизнь. Такая же зеленая лампа была в его спальне, и во сне эхо этого света возвращалось ко мне. Такая же зеленая лампа была в его спальне, и во сне эхо этого света возвращалось ко мне.

Мы виделись еще один раз осенью, и он посмотрел на меня так, как будто не знает меня. Никогда не знал. И я почувствовала, что все правда закончилось.

И тогда мой сон уже насовсем поменялся на другой.

Всегда первый вечер зимы и холод, и он ждет меня у открытой двери, и я прихожу к нему, обглоданная городом и другими людьми. Он обнимает меня, он целует и кусает мочки моих ушей. Мир огромный, как шар, гладкий, как язык. Я раздеваюсь, я ложусь на живот, я закрываю глаза. Он снова

бьет меня. Мне хорошо. Меня наконец нет.

Третья стадия

Когда ей стало так темно? Между сеансом один и сеансом два. Тошнота, кровь в горле.

День за днем она видела свою кровь в раковине. Когда ее снова и снова рвало после химиотерапии, она ложилась на живот, обводила взглядом свою комнату в серо-голубых тонах и закрывала глаза. И вспоминала движения его рук по своим плечам, спине, бедрам и ягодицам. Его язык, ласкающий ее, и это ощущение совсем близкой смерти, уже тогда переходившее в боль.

И часами ей казалось, что ее внутренности как бы расчесаны и воспалены изнутри.

Вечером, когда он впервые раздел ее и увидел обнаженной и долго гладил ее спину, она слышала его сдавленный стон при взгляде на ее тело, и тогда она почувствовала нечто вроде гордости и удивления одновременно, как бы в полусне, то же самое сплетение тепла и удовольствия она чувствовала в детстве, когда ее отец читал ей сказки и его прокуренный голос проникал в ее ушные раковины, и, засыпая, она обнимала его, и только тогда она была не одна, и теперь, когда при взгляде на ее тело он вдруг застонал, она снова была не одна. Тогда все происходящее между ними еще укладывалось в гладкую схему взаимного соращения.

А теперь он являлся ей во всех образах – от ее лечащего

врача до бомжа, когда она шла по морозной улице с пакетами из супермаркета и повседневность возвращалась к ней после всего.

И в этих смутных видениях он набрасывался на нее и утыгивал туда, откуда она не сможет вернуться, и ей хотелось кусать его, откусывать от него куски, вылизывать пространство между его пальцами – и хотелось уничтожить его или чтобы он снова уничтожил ее прежде спор болезни.

В зеркале ванной комнаты, снимая шелковый фиолетовый платок, который она, как тюрбан, обматывала вокруг своей головы, она могла видеть свой абсолютно гладкий, блестящий и лысый череп.

Стрижка гарсон, светлые голубые джинсы, все еще полудетский силуэт – тогда он так любил ее волосы и тело. Теперь болезнь стерла ее, и все ее тело стало маленьким, сухим и ненужным.

И, рассматривая себя в зеркале, она думала о мертвом зверьке, о том, как очень давно в ее совсем уже прошлой жизни умирала ее кошка Мурка. Как пятнадцатилетняя Мурка на ее глазах становилась похожей вначале на птицу, потом на птенца, и она тогда не могла побороть свое отвращение к сладкому гнилому запаху смерти, ставшему исходить от Мурки, и почти не приближалась к ней, и на уколы кошку возила ее мать. И теперь изредка стыд за то, что она тогда не прошла этот тест на человечность, возвращался к ней. Возвращался эхом запаха гнилого и сладкого, ей каза-

лось, что теперь от нее самой исходит этот невыносимый запах.

И тогда она вспоминала другой запах: остатки табака и бычки в пепельнице, запах сигарет, которые он курил, терпкий и властный, его две пачки очень крепких сигарет в день против ее малодушного курения всякой женской мятности, как она любила тогда говорить, все равно что – алкоголь или табак, лишь бы с мятой. Странно, что все же заболела она. Как будто спустя несколько лет ее тело все же оказалось нежизнеспособным без него. Одна и та же зимняя комната в электрическом свечении, словно из начала XX века, пустая и ободранная, и запах травы, которую для нее доставал друг тогда, пять лет назад, и теперь один и тот же вид – широкое окно в форме арки и мерцание торгового центра «Атриум» напротив, мерцание, лишенное признаков человеческого, и она могла, глядя на это холодное сияние, вспоминать его взгляд: как он скользил по ее спине и как, когда она оборачивалась, он возвращался к ее глазам, и недели их ссор, когда она могла думать только о том, что он трогает и раздевает других в нескольких кварталах от нее, и эта фраза «трогает и раздевает» маятником качалась в ее голове. Без конца, час за часом трогает и раздевает и, наоборот, раздевает и трогает. Тогда, чтобы успокоиться, она тушила окурки о свою левую руку, и на ней остались втянутые шрамы, похожие на россыпь жутких звезд.

Трава – это было единственное, что ей нравилось курить,

помимо ментоловых сигарет. В самом начале, когда они шли переулками к его дому, она рассказывала ему о том, как ехала в метро через весь город с травой в сумке, он спросил ее: – Тебя это возбуждало?

Она покачала головой, и он спросил снова:

– Разве тебя не возбуждает опасность?

И она запнулась, глупо засмеялась. Что-то внутри мешало ей рассказать ему о том, что именно из условно недозволенного оставляет в ее психике огненный и болезненный след. Как будто слова прилипали к ее горлу, как клейкая лента, и она не могла говорить толком. Но нет, это были не силовые структуры и не предполагаемая угроза наказания, исходящая от них в случае любого нарушения или неповиновения. Тогда ее день еще начинался с чтения подобных материалов:

«Я был в панике, было очень страшно, я сказал, что ничего не понимаю, после чего получил первый удар током. Я снова не ожидал такого и был ошеломлен. Это было невыносимо больно, я закричал, тело мое выпрямилось. Человек в маске приказал заткнуться и не дергаться, я вжимался в окно и пытался отвернуть правую ногу, разворачиваясь к нему лицом. Он силой восстановил мое положение и продолжил удары током.

Удары током в ногу он чередовал с ударами током в наручники. Иногда бил в спину или затылок-темя, ощущалось как подзатыльники. Когда я кричал, мне зажимали рот или

угрожали кляпом, заклежкой, затыканием рта. Кляп я не хотел и старался не кричать, получалось не всегда.

Я сдался практически сразу, в первые минут десять. Я кричал: „Скажите, что сказать, я все скажу!“ – но насилие не прекратилось».

Конечно, иногда брезгливость соединяется с возбуждением, но в случае с русскими ментами этого соединения не происходило, этот механизм не срабатывал, оставалась только брезгливость.

И до его дома они тогда дошли скованные молчанием.

В свете гирлянд, которые он не убрал после Нового года, комната казалась ей похожей на аквариум, на сад, полный цветных морских рыб.

Несколько раз в полусне он протягивал ей свою руку. И ей было странно, что еще в начале этой ночи, освещенной постновогодним сиянием, когда он ласкал ее, она не могла перестать вспоминать невероятно извращенный порноролик, который она смотрела двумя днями ранее: желтый целлофан, веревки, пластик, крик, теперь соединяющийся с ее собственным, потом она услышала его голос, говорящий ей:
– Громче.

И тогда остались только она и он. Его голос, обращенный на нее, затем его рука, протянутая ей в полусне. Ее уже не такой сильный страх перед жизнью, и этот момент совместного полусна, короткий и ясный, внутри которого она чувствовала себя под водой и чувствовала себя в безопасности.

Его манера слегка сжимать ее руку во сне в ту ночь стала чем-то главным в ее сознании. Остальное, включая весь мир, она бы с легкостью ампутировала, удалила из своей памяти.

Только с ним она чувствовала себя настолько маленькой (со всеми другими людьми этого упоительного чувства не было), точно она действительно уменьшалась, становилась крохотной, пятилетней. Как-то она наклонилась к нему и сказала:

– Я хочу стать совсем маленькой.

Он спросил ее:

– Насколько маленькой?

– Вот такой. – И она приблизила указательный палец к большому, показывая ему свой идеальный размер. Затем она добавила: – Иногда мне кажется, что я становлюсь такой с тобой.

Он засмеялся, а потом посмотрел на нее серьезно, и она тоже резко перестала улыбаться и замолчала на несколько секунд.

Первое время после близости с ним ей нравилось слушать на репите одни и те же классические вальсы. Всего три вальса и один ноктюрн. Теперь с ней оставался только один ноктюрн, вальсы она разлюбила.

Когда это было? Наверное, пять лет назад, да, уже пять. Она чувствовала вкус собственной крови в слюне. Как будто незнакомое хищное животное с мягкими лапами, но острыми когтями набрасывалось на нее, вначале просто сдавлива-

ло ее грудь будто бы бережно, потом все сильнее и сильнее и затем медленно раздирало ее нутро. Тогда она могла только растерянно повторять:

– Как больно.

Ей казалось, что прививку этой боли она уже тоже получила несколько лет назад, в ту зиму, когда они окончательно расстались и один только взгляд на зимний покров причинял ей боль.

Почему с ними произошло то, что произошло: она вспомнила почти беззаботное лето, когда трещина между ними стала образовываться. Это был ужин среди знакомых, самое начало лета, они сидели почти напротив друг друга и украдкой под столом переписывались в мессенджере. В одном из сообщений он спросил ее:

– Как тебе здесь?

И она ответила ему:

– Ну ты и какие-то люди вокруг.

Вскоре она вышла из-за стола, и он тогда вышел за ней, минуя все и всех вокруг. Вначале это ее «ты и какие-то люди вокруг» трогало его. Потом обескураживало, затем стало раздражать и злить: для него мир не сводился к ней одной, и это ее отношение к другим как к декорации, как к чему-то необязательному было чуждо ему. Для него люди не были «какими-то», он умел интересоваться ими, вникать в них искренне, серьезно и глубоко.

Она же, напротив, всегда только изображала этот интерес

к другим, имитировала его, до дрожи боясь быть разоблаченной, все вокруг всегда были ей глубоко безразличны, но, словно замкнутый ребенок, она выучила правила игры и старалась следовать им: например, она хорошо знала, что, когда другой человек говорит о сокровенном, надо слушать, и она старательно имитировала это вслушивание со всеми другими – со всеми, кроме него. Потому что чужое сокровенное ни разу не было ей интересно. Она никогда не была достаточно гуманна для этого и стыдилась этих своих особенностей.

– Тебе совсем не интересно? – иногда он спрашивал ее, рассказывая что-то о знакомых.

И она неловко улыбалась. Для него ее неспособность концентрироваться на чем-либо, кроме себя самой и иногда его, включенного в слишком многие процессы ее тела и психики, была мучительна так же, как и почти полное отсутствие эмпатии к другим, словно у него была связь не с женщиной, а с ребенком-аутистом. Про других она всегда могла сказать только то, что не знает, есть ли они в действительности, больше ничего. Ей смело можно было доверить любую тайну не потому, что она была сверхпорядочна и щепетильна, а потому, что она тут же забывала рассказанное. Она всегда слышала, что ей говорили другие, но это никогда и ничего не меняло для нее. Она с легкостью диктора новостей и компьютерной программы отстранялась от других людей.

К зиме эта разница между ними стала зоной невозможно-го для него. Трещина расплзлась в черную ясную пустоту.

Она помнила теперь ту зиму как фрагменты некой болезненной мозаики. Как только воспоминания становились совсем отчетливыми, она вздрагивала всем своим существом и пыталась уклониться от них. Внезапно в ее памяти всплыл последний день до того, как она узнала свой диагноз: ей приснился сон. Ей снилось, что некая темная сущность набрасывается на нее и повторяет все его прикосновения с математической точностью. Она проснулась потная и заплаканная, а днем, разбирая книжный шкаф, она нашла пачку его сигарет, которую она хранила несколько лет из самых стыдных сентиментальных чувств и почти забыла о ней. Внутри оставалась только одна сигарета, и она тут же выкурила ее, не интересуясь ни запретами врачей, ни жизнью; докуривая, она совсем отчетливо вспомнила его голос, запах, и ее тело покрылось гусиной кожей, потом эта бледная лихорадка прекратилась, и она пообещала себе все забыть. Как будто ей не хотелось направить всю агрессию мира на свое тело, чтобы хоть ненадолго притупить себя. Но и это уже было очень давно.

И теперь все, кто оставался с ней, могли видеть, как ее болезнь приобретает окончательную форму. Ни жидкость, ни вода, ни влага, ни бульон больше не задерживались в ее организме. Казалось, сквозь ее тонкую сухую драгоценную кожу начинают просвечивать не только кости, но и все сосуды, и капилляры, и каждая вена. Она с трудом двигала глазами, и иногда между вспышками боли она могла вспоминать, как

он давал ей свою руку в полусне, потом исчезали и эти видения, похожие на удары слепой нежности, и оставалась только темнота до пяти утра, когда появлялась полоска света, напоминающая рентгеновский луч. И после огня, после сна серый спокойный дневной свет, тихие минуты жизни, равные для всех – и для нее, почти потерявшей свою оболочку, и для детей, стариков и любовников, и для кошки, греющейся в апрельском солнце во дворе хосписа, – для всех, и тогда в ее сознании возникала дорога. Ей начинало казаться, что времени как бы не существует, что оно схлопнулось, и что она снова идет с ним по улице к его дому и они не могут говорить друг с другом от желания, и что она снова идет одна на химиотерапию и еще не знает, что она окажется бесполезной в итоге, потом все дороги смешиваются и снова возникает их совместная дорога в сумерках к его дому, и она вспоминает, как рассказывала ему о каком-то очередном своем страхе.

И он вдруг посмотрел ей в глаза и сказал:

– А разве сейчас ты не знаешь, что умрешь?

И удовольствие тогда захлестнуло все ее горло и существо, и она не стала отвечать ему, а только кивнула.

И теперь она правда это знала уже не в теории. И между ней и этим знанием уже не было никого и ничего.

Гардеробщик

И вдруг я понимаю, что мое последнее сообщение ему заканчивается словом «пожалуйста».

Очень сухая кожа, которая как будто даже с изнанки должна была бы пахнуть табаком. Я всегда предпочитала людей с чуть влажной кожей, словно с остатками молока в подкожной клетчатке, вечных полудетей, иногда тридцатисемилетних.

Он был совсем другим. Темным, сухим, злым, почти неприятным. В самом начале мы стоим с ним в очереди за коктейлями, и я ощущаю течение темного электричества между собой и им. Ко мне возвращается то самое чувство циркулирующей по кругу темноты, как с моим самым первым любовником, и чувство собственной слабости, почти нелепости. И в этот момент я чувствую, как между мной и им образуется невидимая связь. Дурная, нехорошая, темная. И мне хочется ее продолжить и оборвать разом.

Я чувствую небезопасность и одиноличность. И первое, что я говорю ему, – это:

– Я не могу спать на новых местах.

Он смотрит на меня и спрашивает:

– Что же вы делаете?

– Избегаю таких ситуаций.

Несколько секунд мне кажется, что он рассержен моим

признанием, но весь оставшийся вечер мы все же не без упоминания говорим только о фобиях, или я больше говорю, например, что боюсь острых предметов, потому что всегда боялась убить кого-нибудь случайно, – на этих словах я смотрю в его глаза. Он расспрашивает меня о моем психотерапевте, и меня удивляет его настолько пристальный интерес к течению моего невроза. Он достает сигареты, и я показываю ему свою новую зажигалку – на ней изображен фиолетовый велосипед, – и я говорю своему собеседнику, что не умею кататься на велосипеде, хотя велосипеды всегда казались мне ужасно красивыми и мое сожаление по этому поводу велико. Он отвечает, что тоже никогда не умел кататься на велосипеде и что его так же, как и меня, не учили этому в детстве.

И тогда я протягиваю ему руку в знак солидарности и потому, что мне хочется узнать, какова его кожа на ощупь. Мы жмем друг другу руки. В этот момент я флиртую с ним совсем откровенно, мне хочется, чтобы власть хоть недолго перешла ко мне, вернулась.

Через минуту это желание уходит, и я снова становлюсь слабой и жалуясь ему на гардеробщика, говоря, что он похож на персонажа из семейки Адамс. Он отвечает, что Адамсы – это же сплошь милые люди, я улыбаюсь и докладываю ему, что у гардеробщика взгляд именно как у дворецкого – невидящий, – и каждый раз, когда я выхожу курить, он осуждает меня этим жутким взглядом и еще укоризненно вздыхает.

Потом я прошу у него сигарету и нюхаю ее. И говорю ему, что мне нравится запах и что он ни на что не похож. Он улыбается, глядя на меня, и рассказывает мне, что эти сигареты производят только на одной фабрике и их нельзя купить в Москве, и я чувствую, как этот запах въедается в мою память, и я спрашиваю его:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.